

КЛЯТВА ПРИ ГРОБЕ ГОСПОДНЕМ

Часть первая

... Не слышен голос прошедшего; но когда искра юного огня затлеет во глубине груди, пламя вспыхивает, память освещается. Память как лампа хрустальная, расписанная яркими цветами: пыль и пятна ее покрыли, но когда в сердце ее поставишь огонь, еще свежестью цветов обольщает она очи, еще расстилает на стенах древней храмины узорчатые, хотя и потускневшие ковры цветов и красок...

Валленрод

Глава I

Воет сыр бор за горою,
Метелица в поле;
Встала буря, непогода,
Запала дорога...

Мерзляков

Экая метель и вьюга, света божьего не видно! — сказал старик, входя в избу и отряхивая с шапки снег, намерзший хлопьями.

— Добро пожаловать, — отвечал хозяин, слезая с печи, — здесь обогреешься и отдохнешь с дороги.

Старик остановился посреди обширной избы, взглянул в передний угол, где на деревянной полочке стояли иконы и теплилась маленькая лампадка, перекрестился три раза, поклонился на все стороны и, оборотясь к хозяину с поклоном, проговорил:

— Здравствуй, хозяин!

— Добро пожаловать, — повторил опять хозяин. — Аль проезжие?

— Пусти ночевать, добрый человек, — продолжал старик, оттаивая руками свою длинную седую бороду.

— Рады гостям. Много ли вас?

— Пятеро.

— Куда бог несет? Аль в Москву?

— В Москву, родимый. Хотели доплестись до Петрухиной, да такая кура — падает и мерзнет...

— Что за дорога в эдакую метель! Сгинешь ни за что! У нас про вашу милость все спасено,— говорил хозяин, стаскивая с полатей овчинный нагольный тулуп и надевая его.— А откуда Бог несет? — спросил он, зажигая длинную сухую лучину.

— Из Ярославля. Везем рыбу в Москву. Говорят, там теперь она в цене.

— Бог цену строит, да как и не быть ценам? Чай, наехало в Москву народу гибель: ведь теперь дело праздничное, да и веселье княжеское...

Так, разговаривая, хозяин и приезжий пошли из избы. Сильный ветер хлынул в дверь, когда они растворили ее. Заслонив полой тулупа лучину, хозяин светил старику, который, говоря:

— Зги не видать! Экую Бог дал погоду! — шел к воротам.

Работник хозяина, почесываясь, брел по двору с большим ключом.

— Пусти проезжих да дай сена и овса,— сказал ему хозяин.

Молчаливое исполнение было ответом.

Широкое, во все ворота полотенце закрипело на деревянных петлях и отворилось. Пять возов, закрытых рогожами, въехали на двор и остановились под соломенным навесом, которым огорожен был со всех сторон двор хозяина. Проводники с трудом распрягали лошадей измерзшими руками и от времени до времени бранили смиренных животных. Между тем словоохотливый хозяин стоял подле приезжих и уверял их, что у него кадушка для овса новгородская, сено хорошее, луговое, на ужин щи со свежиной, каши сколько съешь и пироги с капустой.

— Доброе дело, благословенное дело! — отвечал старик.— Скажем спасибо хозяину и хозяйюшке поклон положим.

— Уж эта Москва! Все щепетко ходит,— ворчал длинный сухощавый товарищ старика.— В пирогах-то, чай, хоть выпись, а в щах и неводом ничего не поймашь, не только ложкой.

— Что, товарищ, что? — подхватил хозяин, подходя к нему, и, видя неповоротливость его лошади, махнул полой тулупа, прикрикнув: — Ну, кормилица! Вишь, как упарилась!

— Да, упаришься, хозяин! — отвечал старик, сворачивая веревку, служившую ему вместо вожжей, и вскидывая ее на воз.

— Хозяин! Ты, видно, двора-то не топишь! — заворчал опять сухощавый.

— Топлю, да не нагревается, — отвечал хозяин, смеясь.

— Да и как нагреться! Смотри, какие у тебя лазей в навесе-то! — возразил сухощавый. — Бык пролезет!

В самом деле, соломенный навес, которым около плетня был обнесен двор, во многих местах обвалился, в других местах гнилая солома едва держалась, снег веяло во двор, и груды его намело под навесом.

— Да вот, все собираюсь строиться, — отвечал хозяин, — и не хочется уж поправлять старого.

— Кто кладет заплату на ветхую ризу! — усмехнувшись, прибавил старик. — Продерется — и горше старого дыра будет.

В это время вступили в разговор другие товарищи старика, до сих пор молчавшие.

— Хозяин! Где же поставить лошадей? Нигде места нет!

— Как нет? Да вот тут, к колоде.

— Да смотри, какой сугроб! Они околеют у твоей колоды!

— Что за сугроб? — воскликнул хозяин и пошел показывать, что снег неглубок, но едва ступил туда, как увяз по колени в сугробе. Не теряя бодрости — настоящий русский человек, — он обернулся и прибавил:

— Ничего, лошадки пообомнут да еще лучше поедят.

В нерешительности остановились приезжие, но старик между тем подтащил сани к хлеву и принялся растягивать хрептуг между оглоблями, приговаривая:

— Господи, благослови!

Тут донесся шум от закутки, где лежало сено.

— Давай еще! — запальчиво говорил кто-то. — Ведь не задаром у тебя берут, так и меряй по-христиански!

— Что там? Ась? — проговорил хозяин и пошел к тому месту, где шумели.

— Видно, Еремку-то обмерить хочет москвич, — сказал сухощавый. — Уж нечего сказать, сенишко что твоя осока, — и то меряют, словно брагу добрую — с пеной.

— И, брат Гриша,— отвечал старик,— стольный град! На мощеной дорожке и хлеб плохо родится! Одних бояр московских не перечесть, а всякий есть хочет! Так нашему брату, мужичку, и плоха разжива — покривишь душою поневоле...

— Полно, даст ли себя москвич в обиду! Жида обманет и цыгана проведет! Недаром идет пословица, что Москва бьет с носка.

— Не осуждай, да не осужден будешь, брат Гриша! Подумаем о своих грехах... Ну, ну, мать родная! Шевелись! Эх, Гнедко! Устарел я, устарел и ты, а то-то был конь добрый... У старого коня, видно, нет по старому хода.

— Что теперь доброго на белом свете остается? — ворчал с досадой Гриша.— Наше времечко не вашему чета, дедушка Матвей! Прежде и люди-то жили подолее, да и души-то у них были посветлее!

— Что за молодежь такая стала, божьи вы дети! — смеясь, отвечал старик.— Время все одно, и люди все одни и те же. Доживешь до седых волос, так при тебе станут жаловаться на тогдашнее, а хвалить свое, нынешнее, время. Так уж белый свет ведется...

В это время к ним торжественно шел хозяин. Его проворный язык уже успел закончить все затруднения между работником и товарищами дедушки Матвея. Товарищи старика шли с веревчатыми плетушками, набитыми сеном.

— Что у вас там было? — спросил сухощавый Гриша.

— Вишь, сено не нравится! Нехорошее, говорит. А посмотри какое уедчивое! В убыток, право слово, в убыток! — отвечал скороговоркой хозяин.

Молчаливо задавали своим лошадям сено приезжие. Хозяин махал руками, иззябнувшими от сильной стужи, и не переставал говорить:

— Нет, братцы-ребятушки, уж если у меня подмен да обвес, так где и правды искать! Просим и напередки жаловать к Пимену Пантелееву! Нас, слава те, Господи, добрые люди не один год жалуют, да и бояре не объезжают. Вот на Семенов день минет двенадцатый год, как отец-покойник — дай ему Бог царство небесное! — отстроил этот дом. А сколько хлеба-соли едали в нем добрые люди, с благословением! Ведь у нас Москва недалеко, чуть что — так и туда... Калач не успеет простынуть, как здесь очутится...

На улице снова послышался скрип полозьев по снегу и крик на утомленных лошадей. Хозяин поспешил за ворота, но едва выглянул,

как опять поспешно спрятался, задвинув ворота засовом.

— Пусти ночевать! Эй! Кто тут? — закричали охрипшим голосом с улицы.

— Места нет, кормилец! — отвечал хозяин сквозь ворота.

Удар дубиной в ворота был приветствием на ответ. Затем раздались ругательства, и хриплый голос снова потребовал ночлега.

— Ступай к соседу, у него просторно и светло, а у меня тесно и холодно...

— А я вот тебя разогрею с правого угла, окаянная собака!

— Эх, родимый! Ну, что проку будет... Слушай! — Хозяин что-то шептал сквозь затворенные ворота. С улицы голос говорил тише и тише.

— Что он там, колдует, что ли? — спросил Гриша у старика, который в сомнении стоял посреди двора и сквозь порывы вьюги и метели прислушивался к разговору хозяина.

— Тихо! — отвечал старик, поднимая рукавицы с земли.— Казенный обоз, прости нас, Господи! Разве не слышишь?

Гриша и его товарищи разинули рты и вытаращили глаза. Скрип и шум снова раздались на улице. С радостным восклицанием:

— Провалился! — хозяин шел к приезжим.

— Как ты отнекался от него, добрый человек? — спросил дедушка Матвей.

— Вестимо как. Поплатился.

— Теперь с нас и сдерет! — заворчал Гриша.— Хоть бы деньги-то пошли в княжескую казну, а то какой-нибудь обдирало-пристав берет себе подать с православных, а они друг на друге вымещают.

— Прикуси язык, Григорий! — пробормотал дедушка Матвей.

Все пошли за хозяином.

Изба, в которую вступили хозяин и гости, была обширной четырехугольной хороминой, у которой посередине одной из бревенчатых стен были прорублены низкие двери. Днем изба освещалась двумя небольшими окошками, выходящими на улицу и снаружи украшенными грубой резьбой. Резьбу сверху покрывала краска, отчего окна и назывались красными. Третье, маленькое, продолговатое оконце задвигалось доской и составляло так называемое волоковое окно. Огромная печь, безобразная громада кирпичей и глины, занимала левый угол и доходила от дверей едва не до половины избы. С правой стороны от дверей, выше печи, на перекладины были прибиты

гвоздями доски, это хозяин называл «палаты». Под ними, на земле, был помост, застланный измятой грязной соломой. Вокруг трех стен были устроены лавки. Огромный стол с выдвигающейся сбоку доской был придвинут к лавкам, в передний угол, едва не под самые иконы. Ящичек с солью, фигурно вырезанный, и жбан, с опущенным в него деревянным ковшом, составляли украшение стола. И то и другое было когда-то выкрашено, но краска была уже не видна от частого употребления. Другой угол, напротив печи, отделялся запачканной занавеской, за которой было настлано несколько досок. Пол в избе составляла крепко утоптанная земля, сырая от снега, нанесенного на ногах и растаявшего. Окошки затекли льдом: в избе было холодно и сыро. Потолок и стены ее были закопченные, черные, потому что печь была без трубы. Когда ее топили, дым шел в обширное отверстие печи, расстилался облаком по избе и выходил в двери, которые на этот случай всегда отворяли, даже в самый жестокий мороз. Обитатели во время топления печи лежали на лавках, чтобы не задохнуться, или уходили из избы. Топление происходило обыкновенно поутру: тогда варили еду и запасались теплом на целые сутки, закрывая потом печь, которая, разогревшись, создавала в избе два разных климата: на полотах и на печи был ужасный жар, внизу холод, так что мороз, снеговыми курчавыми полосами проступавший сквозь стены, оставался целую зиму не тающим, как снега на вершинах Кавказа. В избе, кроме хозяина, его жены, матери-старухи и детей, жили мелкие домашние животные: свиньи, телята. Им был предоставлен помост под полотами, и дерзкий теленок, спрыгнувший с помоста, опять загонялся криком хозяйки или ударом ухвата на свое место. Только космополит-кот имел право занимать любое место.

По приходе гостей он спрыгнул со стола и сел в лукошко, висевшее на веревках, прицепленных к длинной палке. Это была люлька, где укачивали ребенка, но теперь она была пуста. Все дети хозяина спали на печи, в углу, на изорванном войлоке.

Такое убежище дедушки Матвея от вьюги и метели освещалось светцом, лучиной, воткнутой в железную скобу. Неопрятная хозяйка в грязной шубе и старуха, мать хозяина, сидели подле светца, прями с одного гребня и переменяли лучину, когда она догорала, зажигая новую. Остатки прежней бросали на землю, и она дымила и чадила.

Однако неопрятность и бедность этого жилища, казалось, не

удивляли приезжих. Они спокойно отряхивали с себя снег, молились, кланялись хозяйке. На приветствие «Бог в помощь!», ласково выговоренное дедушкой Матвеем, хозяйка, до тех пор молчаливо занятая своей работой, встала, поклонилась в пояс гостям и покорным голосом проговорила:

— Благодарствую, добрый человек! Добро пожаловать!

— Ну, баба! Поворачивайся, угощай гостей! Что есть в печи, все на стол мечи! — загремел хозяин. Он успел уже скинуть тулуп, оставшись в каком-то полушубке, и теперь ставил мелом на закопченной стене метку о количестве сена и овса, взятого приезжими.

— Благословленная хозяйюшка,— говорил дедушка Матвей, распоясываясь и отряхивая снег,— ты, конечно, не заставишь нас зубы в мощню спрятать, а задашь им работу. Кто протащился верст десятка два, и не на подрядной, а на своей паре, тому надобно покормить вот этого дурака! — Он ударил себя по довольно объемистому брюху.

Неутомимый хозяин, отодвигая в это время стол от лавки, успевал говорить со всеми, кричать на жену и даже не упустил случая ответить на прибаутку старика:

— Э, приятель! Да неужели у вас в Ярославле только по одной паре ног дается каждому, да и то на всю жизнь?

— А у вас в Москве разве у каждого по четыре ноги? — спросил старик.

Все захохотали, хозяин тоже, но тут же оправился и отвечал без замешательства:

— Нет, не по четыре, а по шести! У каждого москвича есть лошадка, а как он сядет на нее — так у него две да у лошади четыре — выходит шесть.

— А правда ли,— спросил Григорий,— что зато на шесть москвичей один зипун приходится?

— Всяко случается, да ведь у нас такие широкие шьют, что шестеро завернутся. Да еще место останется!

— Не этого ли места доспрашивался у тебя давешний казенный обоз? — спросил дедушка Матвей, залезая за стол, в передний угол. Он успел уже скинуть свой тулуп, растянуть его на полатах и повесить опояску на стену. В своем суконном синем полукафтанье с широкой, седой как лунь бородой, плешивой головой, которую все еще покрывало немного волос, с румяным лицом, оживленным добротой и умом,

дедушка Матвей внушал окружающим невольное почтение. Садясь за стол, он благоговейно сделал несколько поклонов перед иконами, творя молитву. Потом оправил бороду и пригладил голову. По всему было видно, что это богатый старик.

Товарищи его — одни не скидали тулупов, другие, скинув, остались в изорванных зипунишках. Глупое бесчувствие было видно на их лицах. Только один Григорий отличался какой-то злобной усмешкой и как будто беспрестанно искал случая поспорить.

— Уж эти нам казенные обозы! — сказал хозяин, вытаскивая огромную ковригу хлеба из засаленного ящика.— Не князя, не бояре съедают нас, а вот эта мелкота. Дубина у нее в руках, словно грамота, на всякого православного найдется.

— Да разве у вас худо смотрят за ними? Нет, вот у нашего князя Александра Феодоровича не слишком-то смеют они вольничать да поборничать.

— И у нас не велено им озорничать, да где, дедушка, суда сыщешь? До Бога высоко, до князя далеко! Пробьешь лоб поклонами, пока добьешься до правды.

В это время хозяин резал большим ножом толстые ломти хлеба во всю ковригу и складывал их на стол перед стариком.

Дедушка Матвей бормотал что-то вполголоса. Можно было только слышать текст Священного Писания: «Горе земле, в ней же князь юн!»

Хозяйка не вмешивалась в разговоры, но усердно хозяйничала. Крестьясь при каждом удобном случае, творя молитвы при каждом порыве бури и вьюги, сотрясающих углы дома, она разостлала замаранный столешник на стол, поставила большой деревянный кружок, положила два ножа и пять грубо сделанных деревянных ложек с длинными ручками. Наконец, она пошла к печи. Взоры приезжих следили за ее движениями, как будто хотели поскорее узнать, что явится из этого убежища съестных припасов. Но хотя хозяин наговорил много об изобилии ужина, хозяйка, светя в печь лучиной, искала там, в углу, хоть какой-нибудь горшок. Вскоре, однако ж, горшок нашелся. В огромную деревянную чашу из горшка налиты были щи, на кружок положена какая-то мостолыга, весьма скудная мясом.

— Кушайте на здоровье, добрые люди! — сказала хозяйка, кланяясь. Осмотревшись кругом и увидев, что хозяин ушел куда-то, Григорий

проворчал, косо взглянув на дедушку Матвея:

— Жиденьки щи-то! Хоть дубиной ударь, так пузырь не вскочит.

Дедушка Матвей улыбнулся, взял ломоть хлеба, переломил его надвое. Из одной половины ломтя два крепкие ряда зубов старика выкроили полукруг... В несколько минут ломоть хлеба исчез.

— Ну, братья! Приударьте-ка в свои костыльки! — сказал он, и товарищи последовали его примеру. Началась работа, тишина нарушалась стуком ложек, которые сквозь вьющийся над чашей пар казались орудиями истребления. Работа была столь усердна, что пот выступил на лбах работавших, и лица их сделались красны, как свекла.

Мы забыли было сказать, что это производительное истребление припасов хозяйки освещалось уже не лучиной, но грубым светильником особого рода, который, кажется, светит без перемены через века, начиная с кровавых пиршеств скифских дикарей до нынешних скудных крестьянских обедов. Ужин дедушки Матвея и его товарищей освещал точно такой вековой светильник. Это было плоское, глиняное блюдечко, утвержденное на деревянной долбешке, налитое салом и жиром всякого рода. Опущенный в него длинный, узенький лоскуток холстины, крепко свитый, был придвинут к краешку блюдечка и зажжен. Все это называлось жирником. Чтобы поддерживать ровный свет от жирника требовалось немалое искусство — следовало беспрестанно поправлять его, то выдвигая из жира, то вдвигая лоскуток холстины, который или делался темен от нагара, или пылал слишком ярким огнем. Дедушка Матвей, казалось, знал это искусство в совершенстве. Когда чаша щей опустела и Григорий начал резать мясо с мостолыги, а потом крошить его на куски на деревянном кружке, дедушка Матвей утер пот рукавом рубашки и занялся исправлением жирника, едва не угасшего от грубой поправки его товарищей. Разговор, пока все они ели, состоял из отрывистых речей, намекавших то на дорожные приключения, то на лошадей, то на цену рыбы в Москве. Разговор этот был непонятен постороннему, ибо пестрел собственными именами: дядя Андрей, Еремка, Сидорка, Гришуха, Пафнутьевна, Козел, Гнедко.

— А что, кормилица,— сказал вдруг дедушка Матвей, оборотясь к хозяйке,— много едет в Москву обозов с рыбой?

— А бог весть, родимый,— отвечала хозяйка, положив на стол два черствых пирога и поставив горшок крутой каши.

Пироги состояли каждый из большого, надвое перегнутого хлебного

пласта. Горшок с кашей был огромный, и большая яма в затвердевшей каше доказывала, что уже дня два этот горшок стоит в печи и много народу успело из него отведать. Кружок с искрошенным мясом был посыпан щепоткой соли. Собеседники начали брать куски мяса, разломив пироги, по цвету и вкусу которых трудно было догадаться: пшеничные они или ржаные. Заедая слова пирогом, дедушка Матвей продолжал разговор с хозяйкой:

— А что, не останавливался у вас в деревне воевода ростовский? Кажись, он здесь хотел ночевать.

— А кто ж его знает.

— Давно ли прошли здесь свадебные обозы нашего ярославского князя?

— Не ведаю, родимый! — отвечала хозяйка, безразлично вертя веретено и глядя на дедушку Матвея.

Старуха, сидевшая подле хозяйки и пряхшая непрерывно, с самого приезда гостей, во все время не произнесла ни слова. Казалось, иногда в этом теле, состоящем из костей и жил, появлялось желание что-нибудь сказать, но усилие это оканчивалось кашлем, который не приводил, однако, в движение глубоких складок грубой, медного цвета кожи, присохшей к костям на лице старухи. Можно было видеть, что эти складки оставили на ее лице мелочные заботы о вещественном существовании, труды телесные, скорби и нужды тяжкие. Складки эти не проходили резкими, ломаными чертами — могилами страстей, но были похожи на слои на пне дерева, каждый из которых означает лишь год его физического существования. Глаза старухи глубоко запали в глазные впадины, как будто боялись глядеть на свет, который для них представлял только однообразное зрелище бедной, убогой жизни и непрерывной нужды. Но звучный голос дедушки Матвея, казалось, произвел наконец свое действие. С сильным кашлем она произнесла:

— Эх, кормилец! Наше дело — бабье, где нам про все это знать!

Дедушка Матвей, встав из-за стола, в это время молился, оставив других доедать кашу, которой была наполнена огромная чашка, вровень с краями, и полита квасом. Поклонившись на все стороны, со словами «За хлеб, за соль благодарствую, православные» он отвечал старухе:

— Эх, вестимо, бабушка! Кто больше нас знает, тому и книги в руки! А худо, когда курица петухом поет и баба много ведает.

— Что, дружище,— сказал он потом хозяину, который в это время

вошел в избу со своим работником,— лучше ли на дворе?

— Кажись, вызвездило с востока,— отвечал хозяин,— но все еще метет да кутит.

Ужин был уже в это время окончен.

— Сбирай-ка ты со стола, баба-бабарица! — сказал хозяин жене.—
К нам еще редкий гость приехал.

— Кто? Из Москвы? — спросил дедушка Матвей, надевая тулуп.

— Знакомый человек,— отвечал таинственно хозяин.— Он не будет лишним. Добрый человек никогда лишним не бывает.

— Вестимо! — промолвил дедушка Матвей.— Ну, братья! Пойдем-ка мы напоим лошадей, да пора и на печку — старая спина назяблась, надобно ее пораспарить.

Не подпоясавшись, надев тулупы нараспашку, приезжие пошли из избы.

Глава II

На пасмурном его челе
Сидит глубокая дума в мгле.

Державин

— Скорее, живее! — так понукал жену хозяин, обмахивая лавки полой своего тулупа.

— Кто ж это приехал? Да так поздно! — проговорила хозяйка, сметая со стола крошки замаранной тряпицей.

— Ну, молчи, коли не спрашивают! — вскричал хозяин.

Но женщины всегда и везде женщины. И на этот раз любопытство хозяйки доказало, что, несмотря на вечное безмолвие в присутствии мужа, она не совсем была лишена благородного побуждения знать, чем отличается человек от животного. Работник стоял за занавеской. Как собачонка, обнюхивающая объедки ужина приезжих, он нашел хлебные корки и жевал их, пощелкивая зубами и кряхтя от холода. Пробыв почти целый день на морозе, он пришел в состояние полной окоченелости. Хотя способности двигаться и говорить он не потерял, но думать уже не мог.

Шепот хозяйки показывал, что она расспрашивает его о новых приезжих.

— А бог его знает! — отвечал хрипловатым голосом работник.— Трое. Одного как-то раз я видел. Помнишь, когда о Радунце проезжал он... Боярский дворецкий, что ль...

— А! — проворчала хозяйка.— Это тот милостивый человек...

— Ну да. А какой же он здоровенный!

Этот разговор был прерван приходом двух людей, которых хозяин встречал в снях, кланяясь беспрестанно и говоря:

— Милости просим! Пусть Бог вам заплатит, что не забыли нашего двора...

Человек, к которому относились эти слова, был высокого роста, красный от холода, с курчавой рыжей бородой, плотный и, по-видимому, силы необычайной. За ним шел старик, худенький, невысокий, с жидкой седой бородой. Оба новых приезжих по одежде походили на купцов и казались одного звания. Волчьи шубы их

покрывало сукно, высокие шапки были из лисьего меха, на ногах красовались огромные теплые сапоги.

Не обращая внимания на приветствия хозяина, старик мимоходом перекрестился, распоясался и молча сел на лавку.

Товарищ его горделиво промолвил «спасибо» хозяину и попросил поскорее задать овса их лошадям.

— Иду, милостивец мой! — отвечал хозяин.— Да не прикажете ли чего еще?

— Ничего, ничего! Мы только дадим съесть кадушку овса лошадям и тотчас поедем! Лошади замучились на этой окаянной дороге...

— Да куда это, батюшка, вас бог несет? — робко спросил хозяин.

— Куда глаза глядят... Ступай-ка, ступай!

— А боярин-то, Иоанн Дмитриевич, здравствует ли? Дай ему Бог здоровья и долгие веки.

— Здравствует, здравствует! Ступай же, приятель.

— Ну, слава тебе господи! Иду, иду!.. Ох ты, мой милостивый благодетель, попечитель и благодетель...

Последние слова произнесены были уже за дверьми. Работник поплелся за хозяином. Старуха забралась в это время на печь. Хозяйка высунулась из-за занавески и низко поклонилась.

— Здорово, моя родимая! — сказал толстяк, и она опять скрылась в свое заветное отделение.

— Кто у него тут? — сухо промолвил старик.

— Жена,— ответил толстяк. Недоверчивый взгляд старика, казалось, спрашивал еще о чем-то. Хозяйка, тихо глядя из-за занавески, удивлялась, что толстяк, всегда казавшийся ей столь великим человеком и равным старику при других, смиренно стоял перед ним, когда думал, что их никто не видит.

— Человек надежный...— промолвил толстяк тихо.— Я давно его знаю...

— А возы какие у него? Что за народ? — спросил старик отрывисто.

— Крестьяне, рыбу везут в Москву.

— Чтобы скорее все скипело! Смотри! Окаянная дорога! Где бы мы теперь были!

Тут старик встал и начал ходить по избе.

— Я иззяб, здесь холоднее надворья. Где фляжка?

— Принесу мигом! — ответил толстяк и бросился вон из избы.

Старик продолжал ходить. Его яркие глаза обращались во все стороны. Хозяйка невольно испугалась, смотря на его сердитые движения. Тут вошел в избу дедушка Матвей. Он спокойно поклонился старику, повесил свою шапку на гвоздик и осмотрел незнакомца с головы до ног.

— Ну, погодка! — сказал он, как будто желая завязать разговор.

— Худа? — спросил незнакомец отрывисто.— Божья воля! Что делать!

— А куда это ваша милость изволит ехать? — спросил опять дедушка Матвей, садясь на лавку и начиная развязывать лапоть.

— Из Москвы едем.

Незнакомец продолжал ходить по избе.

— Смееу спросить, не купец ли ваша милость?

— Да, торговой статьи.

— Благослови же вас Господи. А лошадки ваши добрые, хоть бы боярину такие.

Незнакомец не отвечал ни слова. Дедушка Матвей также замолчал, скинул лапти, расправил онучи и, босыми ногами пройдя по избе, отдал лапти хозяйке. Она открыла заслонку и бросила их в печь. Не подумайте, что лаптями дедушки Матвея она хотела заменить дрова. Нет! Прадедовский обычай — сушить лапти в печи ночью, проходивши в них целый день,— можно увидеть у наших крестьян и ныне. После этого дедушка Матвей принялся читать молитвы на сон грядущий, стоя перед образами.

Совершенную противоположность представляли дедушка Матвей и старик, продолжавший ходить взад и вперед по избе. Ему не сиделось, как говорится. Глядя на дедушку Матвея, можно было понять, что жизнь его всегда протекала в тиши и теплоте сердечной и душевной. Светлое лицо его подошло закату солнца в осенний, ясный день. Как беззаботно и доверчиво смотрел он в молитве своей на окончание дня, проведенного им в труде, и начало ночи, которую отдавал беспечному покою! Сердечная веселость оживляла его доброе, здоровое лицо, показывавшее чертами своими природный, хотя и необразованный, ум. Незнакомец был стариком, как и дедушка Матвей, но какая старость глядела из его сухого, морщиноватого лица — Боже великий!.. Старость, заканчивающая собою день, бурный, как вьюга в приволжских степях или кура в сибирских лесах! Волосы старика не

белели, подобно снегу, окутавшему голову дедушки Матвея, но желтели, будто желчь. Она разливалась по всему телу старика и виднелась сквозь его сухую кожу. Яркий, беспокойный взор его с негодованием смотрел на все окружающее, в то время как дедушка Матвей даже неудобства своего бедного быта умел представлять себе чем-то хорошим.

«Видно, этому купцу не хочется отдохнуть»,— думал дедушка Матвей, лезя на горячую печь, расстилая на ней свое полукафтаные и готовясь спать. В это время возвратился толстяк и принес фляжку. Старик сел за стол. Из дорожной сумы были вынуты маленькая серебряная чарка и белый калач. Молча налил старик чарку из фляжки, выпил, налил еще, опять выпил и, обратясь к спутнику, сказал ему по-татарски:

— Пей, если хочешь.

Дедушка Матвей смотрел с печи на все движения собеседников и, разумея немного татарский язык, вполне мог понимать, о чем они говорили.

— Это меня согревает,— сказал старик.— Но здесь так гадко и холодно... Настоящие скоты — со скотами и живут...

— Добрые люди,— промолвил толстяк тихо.

— Убирайся к шайтану с этими добрыми! Я сам им верил прежде, а теперь вижу, что Махмет-Айдар прав: все они стоят только быть повешенными! Это бумага, на которой пиши что хочешь! Дорого написанное, но надолго ли, если написанному сегодня завтра перестают верить? Осмотрел ли ты мою повозку?

— Все цело. Еремка стоит при ней, лошадей через час станем запрягать.

— А мой ящичек?

— Вот он.

Старик осмотрел замочек и печать на маленьком ящичке, который толстяк подал ему. Со злобной усмешкой он потрянул ящичком и промолвил:

— О! Я за него не возьму дешево... Они увидят, проклятые злодеи, что я с ними сделаю! Далеко ли до нашей подставы?

— Верст десять.

— Какая досада, какая досада! Время золотое течет, и невозвратно! Неужели лучше этого гадкого двора здесь нельзя было найти?

— Все набиты обозами. Метель загнала во дворы множество подвод и проезжих, а после этой деревни верстах на десяти почти нет жилья. Лошади не шли, ты не велел жалеть их от самой Москвы.

— Только бы довели, хоть издохни они...

Разговор был прерван приходом хозяина, товарищей дедушки Матвея и хозяйского работника. Почтительный вид и голос, каким говорил толстяк с неизвестным стариком, тотчас пропали. Движения его сделались свободными, голос громким.

— А что, дядя Федор,— сказал он неизвестному старику, будто нарочно желая показать, что он с ним ровня,— не лечь ли тебе отдохнуть? Чай, старые кости болят?

— Да,— отвечал старик, невольно улыбаясь.— Но в дороге отдохнем лучше.

Он опять начал ходить по избе неровными шагами.

«Хорош ты купец! — думал дедушка Матвей, лежа и раздумывая надо всем, им услышанном и увиденном.— Бог знает, чем-то ты изволишь торговать... Уж не христианскими ли душами! А я готов голову прозакладывать, что ты не то, чем кажешься. Экая пропасть: старому человеку, да еще притворяться! Стоит ли доброго слова на старости лукавить и думать о чем-то другом, кроме спасения души...»

Товарищи дедушки Матвея залегли на полатях и на печи. Хозяйский работник улегся подле телят и других животных в углу, на соломе. Хозяин сел за занавеской ужинать. Толстяк положил шапку, кушак, рукавицы в головы на лавке и лег, не скидая шубы. Разговор хозяина с толстяком не прерывался с самого прихода хозяина. Проворно работая зубами, хозяин успевал отвечать на вопросы толстяка и в то же время хлебать свой ужин.

— Тебе, видно, хозяин, и уснуть-то и поесть не удастся порядком? — спросил его толстяк.

— Э, милостивец ты мой, благодетель! Сон наш соловьиный, на ходу наешься, стоя выспишься. Была бы работишка. Теперь-таки, слава тебе господи, проезжих много...

— Да что ты не пообстроишь избы-то понаряднее?

— В наше ли время, милостивец, думать о постройке? Живешь день за днем, только прожить бы. Того и смотри...

— Что смотри?

— Да то, благодетель, милостивец, что ваше дело не то, что наше,

крестьянское. Нам много не приходится говорить, да и что мы знаем! Мало ли что народ болтает, всему ли верить станешь...

— А коли не веришь, так о чем же забота тебе?

— Не заботился бы, но ведь когда туча Божья над головой, так все равно, боярин ли, крестьянин ли, а боятся вместе, чтобы гром не грянул.

— Полно, приятель, не все ли тебе равно, чтобы ни случилось? Уж конечно, тебе хуже не будет.

— Бог весть! При худе худо, а без худа и того хуже.

— Что же ты разумеешь под худом, без которого будет хуже?

— Да, милостивец, мои слова не с разума говорятся, а так, что ветер нанесет. Вам, в Москве, больше нашего знакомо бывает...

— О, в Москве большие чудеса подеялись в последнее время!

— Неужто и в самом деле? — воскликнул хозяин. — Вот недаром же мне сказывали! — Голос его показывал нетерпеливое любопытство.

— Вот видишь, по Красной площади, в Кремле, шел козел с козю, а по Балчугу петух с курицею, и разговаривали промеж себя: «Что, дескать, ныне за время такое нашло — зимой снег идет, а летом дождь каплет, а посмотришь — все вода да вода...»

Тут задумчивый старик засмеялся в первый раз, проговоривши:

— Эдакий шут!

Хозяин, хотя и оскорбленный, также засмеялся.

— Шутить все изволишь, милостивец! — сказал он.

— Вот еще, шутить! Какие шутки! Разве ты этому не веришь?

Хозяин важно прокашлялся, будто давая знать, что и ему кое-что известно и что московские знатные люди не должны себе вообразить их брата мужика человеком ничего не понимающим и не знающим.

— Нет, милостивец, — сказал он, — просим прощения, но не во гнев вашей милости будь сказано...

— Что, что такое? Скажи-ка, братище, весточку, да не погреси против девятой заповеди!

— Слышно, благодетель-милостивец, что Москве-то теперь куда жутко приходится с тех пор, как милостивый и великий боярин и архистратиг земли Московской Иоанн Димитриевич отказался от великого князя...

Незнакомый старик вдруг остановился и дал знак толстяку, что хочет остановить речь хозяина.

— И что Василий Ярославич своей сестры под венец отпускать не

хочет, пока великий князь ему отдельной, опасной грамоты не подпишет.

— Ну и что?

— Да то, что и да — беда и нет — беда! Подпиши — так тогда матушку-Москву по клочкам разорвут. Рязани — свое, Ярославлю — свое, Твери — свое, Новгороду — свое. Не подпиши — так вороньем налетят со всех сторон... Князь молод, доброго советника у него нет...

— Молод, да умен! — сказал толстяк с усмешкой.

— Эх, благодетель! Всего-то ему, отцу нашему, восемнадцатый годочек! Молодой человек что плод зеленый, не знаешь — будет кисел или сладок.

— Яблоко от яблони недалеко падает. Он весь в дедушку, восьмой год уже княжит и жениться собрался.

— Да в какого дедушку, благодетель? Если в матушкина родителя, так прок будет, а если в отцовского родителя, так бог знает!

— Не грехи, приятель! Грех жаловаться, что покойный князь Димитрий Иоаннович был не лих на бою либо негоден в мире.

— Оно так, кормилец,— да впрок-то его лихость как-то не шла! Били, били мы татар поганых, а всё ладу не было. Видно, домостроительство, родимый, больше чести князю приносит, нежели победы громкие. Вот другой дедушка нашего князя, Витовт Кестутьевич — прости, Господи,— бусурман не бусурман был, а нехристь какой-то, Господь его ведает,— и били его, да все у него оканчивалось ладно.

— Неужели ты литовца променяешь на своего князя? — спросил толстяк.

Хозяин остановился, как будто испугавшись, не наговорил ли чего-нибудь лишнего.

— То-то, отец милостивый, и не приходится нашему брату, мужику простоволосому, толковать с вами, боярскими людьми да знатными господами. Проврешься, сболтнешь что-нибудь на свою беду... Да ведь мы, отец мой, сдуру говорим, что слышим. Наносные речи — на большой дороге живешь. Ну! Перебывает народу тьма-тьмущая, и всякий скажет что-нибудь... Вам больше ведомо...

— Полно, полно, хозяин, что ты! Наше дело также темное — что мы, близ бояр живем? Да мы иной раз еще меньше вашего знаем.

— Я ведь к тому только говорю, родимый, что время-то ныне стало

не прежнее — плохое, и земля-то, кажется, не столь плодovита, как порасскажут. И народ-то стал тщедушнее... Как наши-то старики живали — слушаешь, заслушаешься...

— Да, частенько их на смычках, как собак, водили в Орду, а теперь — запомнишь ли ты, чтобы в деревне нашей татары были?

— Оно так, да ведь зато деньга-то была тогда наживнее! А не все ли равно — из поганых она шла рук аль христианских? Господь создал серебро так, что к нему поганое не пристаёт — перекрести да дунь три раза, вот и чисто по-прежнему, у кого бы ты его ни взял.

Толстяк засмеялся, старик тоже улыбнулся. Ободренный хозяин снова заговорил с прежней словоохотливостью:

— А знаменья-то, отец родимый, ведь уж они даром не бывают. Сказывал мне один проезжий... Ведь эдакое, подумаешь, диво проявит Господь! Над самым Звенигородом будто по три ночи звонило в небесах — Бог весть что, и как! Слышат, чуют все — звонит,— а ничего нет! Многие со страха и от мира отrekliсь...

— Да по городу и чудо. Где же и звонить, если не в звонком городе?

— А может статья, это знаменует, что на земле не будут уже перезванивать в православных церквах? Послушаешь — так волосы дыбом... Ведь и преосвященнейший...

Хозяин опять остановился.

— Ну, что ж преосвященнейший?

— Упокой, Господи, душу его — он был святой человек, угодник Божий! Сказывают, за год до его кончины было у него явление ночью. Стукнули в дверь кельи. Святитель проснулся, и с полуночной стороны вошел к нему юноша красоты несказанной, весь залитый лучами светлыми. «Писано,— сказал Святитель,— не входяй дверьми тать есть. А ты кто, удививший меня и не в двери пришедший?» И тогда юноша ответил ему: «Посланник Божий я. Блюди седмицу седьмую над христианами!» И ровно через год, три месяца и двадцать дней Святитель отдал душу Богу — и мы без пастыря остались, вот теперь уже третий год пошел. Князь есть, а митрополита нет. «Без владыки духовного, словно лицо без одного ока»,— говорил мне недавно один старичок. Он у нас живет в палатке, подле церкви Божией... О-хо-хо!

Хозяин перекрестился. На его вздох ответила хозяйка, также с тяжелым вздохом перекрестившись.

— Я ведь к тому речь веду, кормилец, что без эдакой головы, какова

голова великого боярина Иоанна Дмитриевича, плохо, плохо матушке-Москве...

Незнакомец и толстяк молчали. В это время слез с печи дедушка Матвей и отправился к жбану, стоявшему на столе.

— Видно, ты, хозяин, хорошо знал этого боярина? — спросил дедушка Матвей.

— Кто ж его не знал, первого мудреца в совете покойного князя Василия Дмитриевича? — отвечал хозяин.— Тут не к лести слово сказать, а душа говорит!

— Да что же, разве о нем что-нибудь слышно некошное?

— Да ты сам, старинушка, ярославец — человек, стало быть, видишь, умный и бывалый — так чего же спрашивать?

— Ну, что говорят? Хотелось ему дочку свою за вашего князя выдать, да не удалось! Видишь, она будто, говорят, косая, так молодой ваш князь ни за что не хотел — и руками и ногами!

Выразительное движение незнакомого старика, громкий кашель толстяка и поспешное старание хозяина перебить речь изумили дедушку Матвея. Внимательно посмотрев кругом, он, будто ничего не замечая, принялся за ковш с квасом.

— О-о! Как же я заболтался! — воскликнул хозяин, словно боясь возобновления речи дедушки Матвея.— Уж и петухи запели! Пора бы доброму молодцу и уснуть.

— Пора, пора, товарищ! — вскричал толстяк.— А нам пора ехать.

Он поспешно вскочил, велел хозяину посветить и вышел из избы. Дедушка Матвей опять залез на печь, а старик, безмолвный и угрюмый по-прежнему, яркими глазами поглядел на него и стал подпоясываться.

Толстяк вскоре воротился.

— Ну, что? — сказал ему старик по-татарски.

— Тотчас будет готово.

— Пойдем же.

Они стали прибирать вещи и платье. Тщательно и бережливо старик завернул свой ящичек и отдал его толстяку.

— Нет дурака, от которого нельзя было бы чему-нибудь научиться. Твой разговор с болтуном хозяином удивил меня. Какой черт сказывает им всякую всячину, все перевирает и заставляет говорить то, чего они вовсе не знают и не понимают!

— Язык на что-нибудь у них да создан.

— Просить милостыню! — с презрением отвечал старик.— Не догадываются наложить подать на русские языки — казна княжеская тогда сразу бы обогатилась. Люблю татар, слова не добьешься у них, а на дело не хуже русского! Не забыть бы чего.

Он посмотрел кругом и вышел, надвинув шапку на голову.

За ним последовал толстяк.

— Ох ты, бусурман окаянный! — заворчал дедушка Матвей, глядя с печи им вслед.— Татарин лучше русского! И шапку в светлице надел, и пошел — не перекрестился! Ну, хорош!

Глава III

Мчат, как будто на крылах,
Санки кони рьяны!..

Жуковский

Говорят, что после первого крепкого сна, или первосонка, не легко уснуть. По этому ли общему закону сна или потому, что вид и слова неизвестного старика и его товарища произвели неприятное впечатление на дедушку Матвея, он лег на печку, но не мог уснуть. Зевая и кряхтя, он перевернулся на другой бок. Глубокое молчание в избе, слабо освещаемой жирником, прерывалось только храпом его товарищей, хозяйки, детей, животных и чириканьем сверчка под печкой.

«Нет,— подумал дедушка Матвей,— старость — не радость, не красные дни! Вот, бывало, прежде, спишь, спишь, проснешься, опять уснешь, и — горя мало! А ныне — полезет тебе в голову всякая дурь — не спится, а думается. И будто то не так, и это не этак, и на людей-то смотришь иначе... Только этот старик мне не понравился! Что он не купец — разгадать нетрудно. Ну да бог с ним, кто бы он ни был. Чужая душа потемки... Всякому своя дорога...»

Дедушка Матвей перекрестился, прошептал вполголоса:

— Господь помощник мой, и не убоюсь зла, что сотворит мне человек.

Он уже засыпал, как вдруг говор на дворе и скрип отворяющихся ворот снова рассеяли его сон.

— Это, видно, купцы наши поехали,— сказал он, слушая шипенье полозьев по снегу и звон колокольчиков на дуге. Вдруг опять все замолкло. Потом раздались голоса, понукающие лошадей. Слышно было, как застоявшиеся лошади храпят и фыркают. Все это заглушалось услужливым понуканьем хозяина и русскими поговорками, сохранившимися в словесных преданиях до наших времен.

В то же время звон множества колокольчиков, шум от полозьев нескольких саней, летящих быстро по улице, долетели до дедушки Матвея. Казалось, что какие-то отчаянные удальцы скачут по деревне во весь опор. Несколько голосов заливалось в веселых песнях. Сделавшись внимательнее, дедушка Матвей расслышал, что сани неизвестного

старика в то же время быстро двинулись из ворот на улицу. Ехавшие по улице вдруг остановились, и на улице раздались проклятья, ругань, удары нагаек.

И всегда, слыша какую-нибудь свалку и шум, русский не утерпит. Слыша, что шум на улице усиливается, дедушка Матвей поспешно вскочил и начал толкать своих товарищей, говоря:

— Эй! Ребята! Вставайте, скорее, скорее!..

— Что там? — спрашивали они полусонными голосами.

— Да бог весть — шум, чуть ли не драка. К возам, скорее!..

— Ну, уж Москва, дорожка проклятая... — были первые слова Григория.

Пока товарищи зевали, чесали головы — обыкновенное дело русского при вставании — дедушка Матвей бросился к печи, вытащил свои лапти и начал наскоро обуваться.

Вдруг дверь распахнулась настежь. В ужасе, с криком «Пропала моя головушка!» вбежал хозяин.

— Что ты, хозяин? Что с тобой сделалось? — спросил изумленный дедушка Матвей.

— Пропавшая голова моя! Согрешил я перед Господом. За что на меня такая беда накинута!

— Да скажи, Христа ради! Что сделалось с тобой? Перекрестись, опомнись!

— Там дерутся — не на живот, а на смерть!

— Ну что ж! Дай бог правому победить.

— Что ты! Ведь они его прибили!

— Кого?

— Боярина!

— Какого боярина?

— Что здесь останавливался.

— Как? Этот старик...

— Ох! Он... Да еще хуже вещует сердце...

— Что, что такое?

— Чуть ли это был не сам боярин Иоанн Димитриевич!

При сем имени руки дедушки Матвея опустились, платье, которое хотел он надевать, выпало у него из рук, какое-то восклицание застряло у него в горле, а хозяин усилил горестные свои восклицания.

— Иоанн Димитриевич! — промолвил наконец дедушка Матвей,

останавливаясь на каждом слоге, как будто желая вникнуть в эти слова.

Имя человека сильного и знатного производит волшебное действие не только на простолюдина. Является что-то невольное приводящее в трепет, когда человек незначительный видит перед собой могущественного, знаменитого человека. Каков же был страх доброго дедушки Матвея, когда он услышал, что старик незнакомец, с которым, как с ровней, ему пришлось ночевать под одной кровлей, был страшный, свирепый вельможа московского князя, пред которым недавно преклонялись с покорностью удельные князья, друг татарских ханов, человек, о странной судьбе которого ходили повсюду невероятные рассказы, который с угрозами по адресу своего князя уехал, как слышно было, из Москвы, когда великий князь отказался от руки его дочери, который даже в свое отсутствие все еще страшил Москву своей силой! Если и в самом деле этого вельможу осмелился кто-нибудь обидеть — это могло погубить и богатых, а не только незначительных людей! Дедушка Матвей вспомнил, что даже что-то дерзкое сказал о боярине Иоанне Дмитриевиче, вспомнил общее замешательство при этом случае... Холодный пот прошиб его... Но почему боярин Иоанн Дмитриевич находится на дороге, под видом купца, с каким-то человеком и извозчиком, скрывает свой сан, ютится в крестьянской избе вместе с простолюдинами? Все это казалось дедушке Матвею вовсе непонятным.

— Хозяин! Ты не рехнулся ли со страха? — спросил он хозяина.

— Да уж бог знает — я и сам не ведаю...

— Почему ты думаешь, что это был боярин Иоанн Дмитриевич? Разве ты его знаешь?

— Нет. Да товарищ-то его мне известен. Это ближний человек его и управитель поместьев московских.

— С кем же и как их бог снес?

— Да уж как все на беду! Они сели себе спокойно в сани, управитель-то еще сунул мне серебрянку и молвил, чтобы я не болтал о том, что они здесь были. Я ему поклон, чуть не в землю, а вдруг лошади-то и шарахнулись! Упарились, да после, знаешь, продрогли, застоялись — ведь словно звери — так и храпят!

— Да, уж и я полюбовался на лошадок! Куда добры!

— Вот, знаешь, начали мы понукать, кричать — бьют, храпят, а тут — прости, Господи, словно бес подсунул! Как нарочно, по улице летят

сани, другие, третьи — и бог знает сколько, словно, не здесь будь помянуто,— нечистая сила... Крик, звон, шум! Вот как вихрь лошади вдруг рванулись в ворота, те не успели проехать, не сдержали, эти тоже — и сшиблись, перепутались... И пошла потеха!

— Уж будто и драка?

— Я и ждать-то не стал. Из саней выскочили двое и побежали к нашему старику с кулаками, а управитель им навстречу — ты сам его видел — трех ему мало на одну руку — как даст по разу, так они и с ног долой! К ним прибежали на помощь другие... Кроме управителя, извозчик да еще один, что на облучке сидит,— на них. Тут уж я и давай бог ноги! Ведь беда, да и только,— пропадешь ни за что. Вот спал, да выпал...

Он сжал руки и бросился на лавку. Между тем товарищи дедушки Матвея стояли в стороне, не понимая, что все это значит, но, видя испуг хозяина и замешательство дедушки Матвея, почувствовали что-то недоброе. Так овцы прижимаются одна к другой, не понимая опасности, но чувствуя ее.

— Ребята! За мной! — вскричал дедушка Матвей, решительно махнув рукой. Он надел наскоро тулуп и поспешно пошел из избы.

Метель перестала, снеговые облака облегли горизонт, темнота была ужасная, и на дворе всюду намело сугробы. Сквозь отворенные ворота дедушка Матвей увидел блеск огней и толпу народа на улице.

Выбежав за ворота, он разглядел, что у страха глаза велики и что хозяин с испуга увеличил опасность, грозящую неизвестному старику — купец ли это был, как сказал он сам дедушке Матвею, или боярин Иоанн Димитриевич, как подозревал хозяин.

Драки вовсе не было. При свете от зажженных пучков лучин, которые вынесли выбежавшие из ближних дворов люди, услышав смятение и шум на улице, дедушка Матвей увидел старика. Он бодро стоял подле своих саней и с бранью приказывал скорее распутывать набежавших одна на другую лошадей. Сани его столкнулись с средними санями из трех, ехавших мимо. У проезжих были тоже лошади сильные и бодрые. Из двух передних саней выскочило несколько человек, одетых в дорожные шубы. Задние сани были закрыты огромной медвежьей полстью, видно было, что лежавшие там люди спокойно спали.

Вместо того чтобы с обеих сторон постараться скорее распутать

лошадей, которые бились и храпели, проезжие и старик с рыжим своим товарищем в запальчивости кричали друг на друга, беспрестанно угрожая переменить брань на жестокую драку.

— Отъезжай прочь, в сторону, отвяжи лошадь, а не то исколочу пуще Божьего суда! — кричал старик.

— Убирайтесь вы к бесу! Скорее распутывай, отводи! — кричал рыжий толстяк.

— Да как ты смел драться, проклятый ты человек? — кричали ему трое, наступая на него.— Ведь ты зуб было ему не вышиб!

— Я всем вам их пересчитаю! — гремел толстяк, не страшась трех противников.

— Да знаешь ли ты, с кем говоришь, рыжий пес? — закричал один из проезжих.

— А ты знаешь с кем? — отвечал толстяк.— Прочь! Дух выбью!

— Ты смеешь...

— Ты осмелился мне сказать...

— Я тебя...

— Я до тебя доберусь скорее!

И вдруг противники устремились на старика и толстяка. Забыв про опасность, толстяк бросился к старику, заслонил его и отбил кулак, нацеленный на него.

— Наших! Как? Наших! — закричали противники, бросаясь вперед. Их собралось уже человек семь против трех провожатых старика, и от сильного удара одного из них извозчик слетел с ног. На помощь слабым, видя притом смелость толстяка, бросился дедушка Матвей с товарищами, желая разнять драку.

Увидев новую помощь неприятелю, один из проезжих кинулся к задним саням.

— Князь Василий Юрьевич, князь Димитрий Юрьевич! Вставай, отец! Смилуйся! Твоих людей обижают!

Полость полетела, двое седоков поднялись, и, не выходя из саней, один из них закричал громким голосом:

— Кто там? Что там за разбойники?

Дедушка Матвей изумился действию этих слов на старика. С досадой и негодованием тот воскликнул:

— Стой, стой! Полно драться, окаянный! Распутывай скорее — провались они вовсе...

Он хотел бежать в ворота постоянного двора, где останавливался.

Это возвратило бодрость противникам. Один из них схватил старика за ворот, крича:

— Нет, не увернешься!

Толстяк хотел вывернуть его — старик грозно закричал на него:

— Стой! Слышишь — это Юрьевичи!

Толстяк смирился, начал уговаривать, останавливать всех.

— Полно, полно, товарищи! Что вы, что вы! Да за что драться? — говорил он.

— А! Теперь — товарищи, что вы... — кричали противники. — Нет, рыжий разбойник, не отделаешься! Постой-ка, мы тебя...

В это время седок из задних саней успел уже выскочить и прибежал к старику крича:

— Кто тут буянит? Кто осмелился?

Это был высокого роста, средних лет человек, в богатой шубе, подпоясанной персидским кушаком, и в дорогой шапке. Черная борода его, свирепые глаза, хриловатый голос могли испугать всякого, кто и не знал бы, что это князь Василий Косой, так названный за свои косые глаза, старший сын Юрия Димитриевича, князя Галицкого и Звенигородского, двоюродный брат московского великого князя, муж сильный, буйный, гордый и бесстрашный.

Все остановились перед ним, почтительно снимая шапки. Только старик надвинул шапку глубже на глаза и глухо промолвил:

— Я не буяню, твои люди меня обижают...

— Нет, князь Василий Юрьевич, не мы, а они на нас наскочили! Мы смирно себе ехали, как вдруг нелегкая вынесла этих разбойников вот из этих ворот прямо на нас — чуть было не убили! Мы стали им порядком говорить, а они драться кинулись — вот этот рыжак, да и старичишка-то все поджигал...

— В плети их! Руби у них постропки! — закричал князь Василий.

— Князь! Остановись! — сказал старик, задыхаясь от гнева. — Будешь жалеть!

— Что ж вы стали? Принимайся! — воскликнул Косой, не слушая речей старика.

— Князь! Побереги себя и меня. Разве ты меня не узнаешь?

При этих словах князь Василий остановился и, пристально посмотрев на старика, сказал вполголоса:

— Как? Это ты...

— Я,— отвечал старик, перебивая речь его и как будто не желая, чтобы его называли по имени.

Князь Василий махнул рукой своим людям.

— Перестать! — крикнул он строгим голосом.— Я вас знаю, буяны! Разведи лошадей!

Все умолкли и, ворча, принялись распутывать и разводить лошадей.

— Мне хотелось бы,— сказал князь старику,— знать... Как бишь, твое имя?

— Я московский купчина, Иван Лукинич, и готов служить тебе, князь Василий Юрьевич, добрым словом и благим делом.

Голос старика все еще дрожал от досады.

— Да, да, Иван Лукинич, старый знакомый...

Между тем как все окружающие удивлялись изменению обстоятельств и перемене разговора, не понимая, чем сумел простой купец мгновенно успокоить, укротить гордого князя Василия, приблизился и другой седок из княжеских саней. Он подходил совсем не сердясь, не бранясь и шутиливо крикнул князю Василию:

— Ты заморозил меня, как свежую рыбу... Что у вас за разговоры? Брань или мир?

— Брат! — сказал ему князь Василий Косой.— Узнал ли ты старого знакомого, московского купца Ивана Лукинича или Лугинича, что ли? Поздоровайся с ним и поприветствуй его!

— Кажется, он хорошо приветил наших передовых,— сказал товарищ князя Василия.

— Грех да беда на того, кто не живет, князь! — отвечал старик, не снимая шапки.

— Как? Что? — вскричал с удивлением товарищ князя Василия.— Во сне или наяву московский дух воочию появляется — недуманно, негаданно! Так ты ныне начал торговать, Иван... как бишь... Прежде звали тебя Иваном, да прозвище-то было у тебя не то...— он громко захохотал...— Старый знакомый... Ха-ха-ха!

Косой с досадой сказал своему товарищу:

— Ты сам не знаешь, что говоришь...— И громко закричал, замахнувшись на окружающую их толпу любопытных зрителей: — Что вы рты разинули тут, как голодные галки? Убирайтесь! Эй! Гоните прочь этих болванов!

Как дождь рассыпались при этих словах все собравшиеся вокруг зрители и кинулись во все стороны. Одни спешили бежать в дома свои, другие спрятались за заборами, за грудями снега. Князь Василий, товарищ его и старик сошлись вместе. Было видно, что старик и князь Василий с жаром начали о чем-то говорить. Товарищ князя смеялся и наконец громко сказал:

— Пойдемте хоть в эту избушку на курьих ножках. Что за толки на морозе!

Они пошли в постоянный дом, где останавливался старик.

— Эй! Князь Роман! Закрой хорошенько наши сани,— закричал Косой.— Да посветите, провалитесь вы — кто здесь — тут домовый голову сломит...

Поспешно вынесли из избы пук горящей лучины и выгнали всех, кто там был. Князь Василий, товарищ его и старик пошли туда. Любопытный народ начал выглядывать из всех ворот на улицу, где прожатые старика и князя Василия, спокойно и без ссоры, распутывали лошадей и выправляли сани.

— Дедушка Матвей, дедушка Матвей! Где ты? — тихо спрашивал один из его товарищей, заглядывая под сарай.

— Здесь,— отвечал дедушка Матвей, справляя оглобли и готовясь запрягать.

— Да неужели ты собираешься ехать?

— Чего ж мешкать? Бог с ними!

— Ты еще спозаранку убрался, а уж что мы видели...

— Да как увидел я, что старик-то столкнулся с князьями, так и господь с ним! Близ князя — близ смерти...

— Ты же бросился разнимать?

— Коли видел, что на одного пятеро, так как же иначе? А коли это князья да бояре, так нашему брату — пронеси, Господи! Пусть дерутся, пусть и разделяются сами.

— Какой же это князь-то, дедушка Матвей?

— Будто не слыхал? Князь Василий Юрьевич Звенигородский с братом.

— С каким братом? Ведь их, говорят, трое у старого князя Юрия?

— Вестимо, что трое: два Димитрия да один Василий. Вот Василия-то и называют Косым, одного Димитрия — Шемякой, а другого — Красный.

— Ох, дедушка Матвей! Не видал ты страсти! Как закричит на нас этот князь — ну вот так душа в пятки и ушла! Невесть что подеялось, как обморочили будто! Народ-то православный кто куда... А уж этот старик, что с нами ночевал,— словно деревянный. Даже меня за него морозом продрало по коже, а он стоит себе, глазом не моргнет.

— Полно калякать, запрягай-ка поскорее!

— Да где наши-то ребята, бог весть...

— Поищи их, а я пойду разочтусь с хозяином да оденусь. Ведь я думал было, что добрых людей бьют, да и выскочил нараспашку...

— А разве тут не добрые люди?

— Полно, говорят тебе, не твое дело! Ты парень молодой, твоя статья — слушать да молчать, молчать да слушать!

Дедушка Матвей пошел к дверям избы, оставив товарища под навесом. В раздумье ходил этот бедняк с места на место и не знал, за что приняться. У дверей избы стоял рыжий толстяк. Едва дедушка Матвей хотел переступить через порог, толстяк тихо и угрюмо сказал ему:

— Прочь! Куда лезешь?

— В избу, родимый,— отвечал дедушка Матвей униженным голосом, как обыкновенно говорят русские мужики., когда кто-нибудь пугнет их порядком.

— Нельзя! Пошел прочь!

— Мне только взять шапчонку да опояску, родимый!

— Успеешь после. Ну! Чего стал?

Смирено завернув полы своей шубы, дедушка Матвей пошел к воротам двора, подле которых стояли сани старика и трое саней княжеских. Извозчики и провожатые похаживали вокруг и, забыв прежнюю ссору, мирно и весело разговаривали о лошадях, о дороге. Так всегда у нас: когда правда высказана кулаком — мир не за горами, а за плечами. Спутники князей улеглись в свои сани и закутались в теплые полсти и одеяла.

Скоро подошли к дедушке Матвею его товарищи, говоря, что лошади готовы.

— Ладно.

— Что же? Поедем, дедушка Матвей.

— Погоди! Не так живи, как хочется, а как Бог велит,— проворчал он вдобавок.

— А разве опять...

— погоди, говорят тебе!

— никогда не видывал я его таким сердитым,— сказал один молодой парень другому.

— А когда дедушка Матвей сердит, так нам белугой выть приходится,— промолвил сухощавый Гриша.

Но что между тем делалось в избе, куда вошли князя и неизвестный старик? Свидетелей их разговора быть не могло, но в пылу беседы ни князя, ни старик не заметили, что хозяин, со страха спрятавшись за печку, слышал и видел все, потом пересказал кому-то еще, тот — другому, этот — третьему. Нам досталось это, конечно, из сотых рук. Не в первый раз люди услышат рассказ о важных делах по заметкам невежды, который делал их, сидя, дрожа от страха, за печкой.

Глава IV

И он, стряся прах с ноги,
Поклялся местию до гроба:
«Иль он, иль я, иль пусть мы оба
Погибнем — лишь погибни он!»

Быстрыми шагами вошел в избу князь Василий Косой и остановился подле стола. Старик проследовал за ним, снял шапку у входа и низко поклонился Косому, когда тот дал знак удалиться одному из людей своих, светившему им. Князь Димитрий Шемяка вошел тихо, весело, снял при входе шапку, перекрестился на иконы, сел на лавку подле стола и, смеясь, смотрел на брата и старика. Свет жирника падал на его русское цветущее лицо, выражавшее ум и какую-то беспечность, столь общую русским в молодых летах, когда еще ни одна сильная страсть не кипит в душе и не отражается на лице. Кудри русых волос и небольшая борода обрамляли румяные щеки, придавая молодому князю мужественный вид. Откинув верхнюю одежду, он открыл богатый терлик с золотыми шнурками и пуговками, держа в руке дорогую соболью шапку. Щегольство видно было во всей его одежде.

— Не знаю,— сказал Косой,— уж не радоваться ли этому несчастному случаю, когда он дал нам возможность увидеть тебя, боярин Иоанн Димитриевич?

— И я тоже думаю, князь Василий Юрьевич. Почему же несчастный случай? Семья-то одна. Признаюсь тебе, князь, а я рад, что вижу именно тебя...

— Я желал бы прежде всего знать: давно ли мы стали называться одной семьей, боярин? — сказал Шемяка, улыбаясь.— Мы и прежде были горшками не из одной глины.

— Кажется,— отвечал боярин, в недоумении смотря на Шемяку,— мне не нужно объяснять всего, что было в последнее время. Все это, князь, должно быть тебе известно?

— Мне известно? Менее, нежели кому-либо другому. Не люблю я вмешиваться не в свои дела, мне довольно забот с соколами и медведями: одних надо вынашивать, других бить, а девичьи глаза разве мало значат? Да это страшнее всякого медведя молодецкому сердцу!

Косой посмотрел с неудовольствием на брата и, словно не обращая внимания на его слова, начал говорить боярину:

— Я полагал, боярин, что ты в Твери, и даже не думал здесь с тобой встретиться.

— Что тебе за надобность, куда едет и где живет боярин Иоанн Димитриевич? — возразил Шемяка, насмешливо улыбаясь. — Если тебе есть охота мешаться в чужие дела, то можешь спросить боярина, как это бывает невыгодно.

— Князь! — вскричал боярин.

— О, боярин! Это говорю не я, а вся Русь православная. Не говорит, кричит, что боярин Иоанн Димитриевич не щадил ни забот, ни трудов, вмешиваясь в дела между дядей и племянником, хлопотал, трудился, чуть лба не пробил, кланяясь ханским прислужникам, а потом на себе узнал пословицу, что когда свои собаки грызутся, чужая не вступайся.

— Ты забываешь, брат, — вскричал Косой, — правило предка нашего: делу время, а потехе час. Твоя потеха совсем не ко времени.

— Вот. А я думал, что все мы давно забыли правила отцов наших, переросли их умом и почитаем речи их заржавелым мечом, который годится крошить окрошку в беседах и более никуда.

— Ты выводешь меня из терпения!

— Я? Чудо чудное! А я помню, как выходил ты из терпения, слыша, что по милости боярина Иоанна Димитриевича навсегда лишаешься одного словца при имени своем. Словцо неважное: великий... Удержи гнев. Помню еще, как гневался ты, слыша, что по воле боярина Иоанна Димитриевича дядя вел лошадь своего племянника перед татарским ханом. Старик дядя бил челом безбородому отроку и клялся ему, как старшему и старейшему, в верности и подданстве!

— Если ты шутишь, то забава твоя, повторяю, никуда не годится. Если же твои речи идут от сердца — не стыди себя: ты не младенец!

— Боже мой, Создатель! — воскликнул Шемяка. — Неужели только тем отличаем мы младенца от взрослого, что младенец не желает никому зла и бежит от злой беседы... А взрослый сам нарывается на злую беседу и на погибель души своей!

— Если не нравится тебе наша беседа, можешь удалиться.

— Благодарствую, только ты забыл, что мне спрятаться некуда: ведь мы не в княжеском тереме, где столько перегородок и углов, что находят себе место укрыться и злоба, и ненависть, и измена: здесь тесно

и все наружи, что в ухо одному шепнут, то в ухе другого отзывается, будто звонкая русская пощечина. Я залег бы в наши сани, да ведь беседа ваша может так затянуться, что я успею без покаяния отправиться на тот свет от теперешнего лихого мороза.

Косой с досадой сел на лавку и замолчал. Старик злобно улыбнулся и, низко кланяясь, сказал ему:

— Нечего делать, князь Василий Юрьевич! Прощай! Видно, мне приходится морозить свои мысли и добрые речи в душе, до приезда к твоему родителю! Я не знал, что тебя до сих пор водят на помочах меньшие братья...

— И хорошо сделаешь, боярин,— с жаром воскликнул Шемяка,— если совсем заморозишь свои добрые мысли и речи и не дашь семенам зла пустить корни в почву русской чести и семейного благоденствия князей!

— О! Я умею обращать эти слова на погибель того, кто оскорбил меня хоть однажды в жизни... Не тем, так другим... Мономаховы потомки не все еще отказались от доблести и княжеской чести. Доброго пути вам, князь! — примолвил старик ласково и собрался идти.

— Нет! Мы должны объясниться с тобой! — вскричал Косой.— Воле Божьей угодно было указать тебе путь и нас направить по этому пути. Князь Димитрий! Волей старшего брата я запрещаю тебе оскорблять почтенного боярина, или — клянусь тебе всем, что есть для меня на земле святого! — ты дорого мне заплатишь за каждое свое безрассудное слово! Ты понимаешь меня?

— Понимаю,— печально сказал Шемяка, уклонив взор от горящих очей брата.— Но знай, князь Василий, когда напомнил ты о старшинстве, что не такой пример должен подавать старший брат младшему, какой подаешь ты! Я говорил тебе, как говорила бы тебе твоя совесть. Берегись теперь: совесть и я отступаемся от тебя. Ты еще чист душою — отступись от этого старика, оскорбителя князей: на языке у него мед, под языком лед! Не хочешь? Гордость увлекает тебя? Знай же, что я умываю руки от твоих замыслов. Имейте меня отреченна!

— Пилаты Понтийские! — тихо проворчал старик.— Ты говоришь сладко, пока не лизнул человеческой крови. Тогда, как у дикого зверя, жажда честолюбия делается у тебя ненасытна. Жажда кровавая!

Шемяка облокотился обеими руками на стол и опустил голову на руки, закрывая лицо. С минуту молчал и Косой. Наконец глухим,

прерывающимся голосом он спросил:

— Скажи же мне, боярин, где ты скрывался до сих пор?

— Там, где скрывается изгнанник: под кровом всего Божьего неба, когда земной владыка налагает на него гнев свой!

— Но ведь ты не был изгнан и лишен почестей?

— Как? Неужели мне надобно было дожидаться такого позора и унижения? Князь Василий Юрьевич! Дочь мою оттолкнули от Святого наоя, где рука ее готова была соединиться с рукой великого князя! Гордая литвянка, мной спасенная, и этот восковой князик, которому я сохранил венец и престол Московский, выгнали жену мою из дворца княжеского, когда она, твердая обетом и словом княжеским, привела было невесту к жениху! И мне следовало терпеть это посрамление, мне, опоре княжества Московского, сорок лет бывшего душою совета? О! Лучше смертный час пошли мне, Господи, нежели увидеть еще раз на старости лет моих, как молокососы — Басенки и Ряполовские хохотали мне вслед, как литвянка едва не прибила меня за мое смелое объяснение с ней и с ее младенцем-князем!

— Но, боярин, ты мог ожидать...

— Но, князь, чего ж мне было ожидать еще? Разве шея у меня адамантовая и секира палача не перерубит ее? Разве кожа моя такая крепкая, что нож убийцы не проколет ее или отравы смертной не источит из нее каплями остатка крови, уцелевшей в битвах, где не жалел я живота за неблагодарный род твоего дяди? Учишься ли ты у Софьи Витовтовны губить верных княжеских людей, когда они не надобны более? Разве батюшка ее, Витовт Кестутьевич, не давал ей примера, а Кучково поле клином сошлось, так, что для плахи на этом поле и места не останется?

Он остановился, задыхаясь от бешенства.

— Видишь ли теперь, боярин! — сказал, улыбаясь, Косой.— Видишь ли, как тяжка была обида законному твоему государю, когда ты в несколько часов разорвал цепи, которые сорок лет ковало твое усердие и верность? Ты не князь еще, ты не можешь понимать, каково тому, с чьей головы срывают законный венец!

Боярин тихо поднял глаза к образу, будто чувствуя раскаяние.

— Как человек, я оскорблен и готов простить оскорбление. Но только не этой литвянке, а сыну моего покойного князя Василия Дмитриевича! Дотолле на душе моей будет лежать грех, как камень,

доколе не исправлю я вины и греха перед твоим родителем. Князь Василий Юрьевич! Я, окаянный, лишил его венца и престола великокняжеского...— Боярин с невольной гордостью оглянулся вокруг.— Я нарушил своей хитростью права законного наследия и, если Господь мне поможет, исправлю все по-прежнему. Не видать Великого княжества Василию Васильевичу, доколь жив буду я! Родитель твой собирал войска, но не ими поборет он племянника. Силой ничего нельзя было сделать против московского князя, но теперь, без меня, доски его княжеского терема без матицы. От сильного толчка полетят они все вниз и задавят князика московского, беспечно пирующего за свадебным столом со своими гостями и с литвянкой...

Нетерпеливое выражение промелькнуло в лице Шемяки при этих словах, но он удержался. Не замечая этого, боярин продолжал, понизив голос:

— А потом я дал обещание сходить пешком ко Гробу Господню, там облечь себя в ангельский чин, а возвратясь на Русь, выстроить обитель иноков и в ней оплакивать грехи свои весь остаток дней, если только Господь умиосердится надо мной! Откажусь от мира тщетного и суетного, где нет правды в устах человека и памяти о добре в его сердце.

— Нет, боярин, есть еще правда в душе человека, и по воле Господней возвращается она в душу его! — сказал Косой.— Бог ведет тебя на дело закона и блага. Но если ты узнал теперь настоящий путь истины и правды, верь, что этот путь должен привести тебя не в келью отшельника, но к почестям и славе, или — пусть не буду я сыном отца своего! Знатен был ты при дяде Василии Димитриевиче, знатен при сыне его Василии, но еще славнее явишься при великом князе Юрии Димитриевиче... и... при наследнике его...— промолвил Косой, останавливаясь в невольным замешательстве.— Поверь моему слову. Итак, ты едешь к отцу моему?

— К нему несу я свою повинную голову и посильную помощь. Думаю, что старость не совсем еще охладила кровь его, что в один год он не разучился стоять за свое законное право, как стоял прежде. Я передам ему все, что у меня в руках,— а что у меня есть, то стоит большой рати!

Он замолчал и положил шапку на стол.

— Что ж ты остановился, боярин? — сказал Косой, в нетерпении

вставая и быстро подходя к нему.— Скажи, скажи скорее,— говорил он, взяв старика за руку.

— Сядь, сделай милость,— вскричал Косой, усаживая боярина на лавку и сам придвигаясь к нему.

Шемяка молча поднялся, сложил руки на груди и тихо начал ходить по избе. Косой как будто забыл о нем, увлеченный речами старика.

— Князь Василий Юрьевич! Прости моей старости,— сказал боярин после некоторого молчания,— она недоверчива. Наша беседа походит не на беседу двух друзей, но на допрос преступника или на свидание двух неприятелей, из которых каждый прячет что-то за пазухой, и Бог знает, что именно прячет. Горсть золотых денег или увесистый камень. Брат твой юн и много наговорил такого, чего совсем не нужно было говорить, а ты не говоришь и того, что мне непременно знать надобно, чтобы и со своей стороны показаться тебе в одной рубашке, а не закутанным в одежды хитрости и притворства.

— Неужели ты можешь сомневаться?

— Могу, потому что худо понимаю твои дела. Я испугался было — нет, не испугался, но и не порадовался встрече с тобой. Мне не хотелось, чтобы кто-нибудь заметил меня на этой дороге, пока я не увижу ясных очей своего прежнего соратника, твоего родителя. Вы князья юные, молодые — кровь у вас красная и не сгорает в сердце, а играет на щеках. Как часто девичья русая коса связывала руки молодым князьям, а от бесовского бисера женских слез ржавели мечи и щиты их!

— Боярин! Неужели ты меня не знаешь?

— Кто тебя не знает и не хвалит твоей мудрой головы, хоть она еще и не серебряная? Но, прости меня, ты едешь в Москву гостем, а где родитель твой теперь — я не знаю.

— Гостем! Пришлось гостить, когда нельзя мостить дороги в Москву мечами да костями! Что выпьем у князя Московского, только то и наше! Но я сниму тебе со стены икону Пресвятой Богоматери, боярин, что не гостьба у меня на уме... Говорят, что Москва зыблется, как дорога по болоту. А мой зоркий глаз не заглядится на золоченые чаши княжеские. Об отце моем скажет тебе все вот эта грамота. Боярин! Ради Христа, будь со мной откровенен!

Старик взял грамоту, сложенную и обернутую в шелковую ткань, развернул ее, пробежал глазами и молча отдал Косому.

Он казался задумчивым, но радость блеснула в его глазах. Взор

старого честолюбца некоторое время услаждался после этого беспокойной заботой, видимо терзавшей душу честолюбца молодого. Наконец, когда он насытился этим зрелищем, когда увидел, что глубоко запало в душу князя зерно гибели и раздора, сулившее ему удовлетворение самолюбивых и гордых надежд, то покачал головой и сказал, коварно улыбаясь:

— Не думал я, князь Василий Юрьевич, что все твои требования ограничиваются только требованием на погреб княжеский. Мог ли я ожидать, что внук Дмитрия Донского не имеет надежды на что-нибудь более славное, более великое?

— Надежды! — вскричал Косой. — Что ж оставалось, боярин, как не ждать подходящего времени и втайне точить меч на врага... Отец мой становится стар... Знаешь ли ты, что сделалось теперь в Дмитрове?

— Слышал.

— В этот наш родовой город присланы московские наместники! В отсутствие отца моего! Не знал я этого, не знал, а то полетели бы они назад, в Москву, вверх ногами!

— И что же из того? Великий князь Московский приказал бы удельному князю Звенигородскому и Галицкому снова принять их. Вы заспорили бы, и к вам послали бы какого-нибудь попа застращать вас, а не то уговорили бы соседних князьков идти на вас войной, и дядя-старик кончил бы челобитьем младенцу — своему племяннику!

— Но уж, по крайней мере, обида не осталась бы без отплаты...

— Русский обычай! Сколько раз бывали от него беды Русской земле? Вот так-то Александр Тверской поколотил дурака Щелкана — не вытерпело русское сердце — и принужден был бежать горемыкой, а потом снова кланяться татарам! Так и покойный дедушка твой было размахался на татар, но что оказалось следствием? Через год Тохтамыш сжег у него Москву... Да, нечего и говорить, это-то и губит нас и землю нашу! Князь Василий Юрьевич! Ты еще молод, послушай меня, старика, бери пример с твоего прапрадедушки Ивана Даниловича. Вот был истинный князь! Иногда читаешь его старые хартии и грамоты — какая ловкость, какое умение владеть людьми и обстоятельствами! Дядя твой, покойный князь Василий Дмитриевич, также ничего не делал наудачу. Бывало, слушаешь его, так заслушаешься: что ни делает, всегда глядит вперед. Ссорится на мир, а мирится на ссору. Лисий хвост и волчья пасть — вот что надобно князю благоразумному... А родитель твой пел

и поет совсем не по голосу.

— Боярин Иоанн Димитриевич! Слушаю тебя, словно мед пью, и дивлюсь только одному: как с твоей мудростью не успел ты предупредить врагов твоих?

— Да что ж они у меня взяли? Кроме того, и на старуху бывает проруха, с дураками и у каши неспоро, а часто дурак перемудрит самого умного человека. Оттого это и бывает, что готовишься отразить хитрость, отбиваешь меч, а тебя бьют просто сзади, дубиной! Но я заставлю их опомниться! Тот, кто выкалывает у себя глаз, после не жалуется, если на всякий сучок натыкаешься. Князю Московскому не избежать сетей, какими я его опутал и еще опутаю, если только на меня положится твой родитель и ты, князь, меня не выдашь...

— Будь уверен, что ты будешь у моего отца дорогим гостем, а я немедленно возвращусь из Москвы.

— В этом нет надобности. Дело тебе и в Москве найдется. Ты знаешь отношения наши с ордой и Литвою: и там и здесь такая сумятица, что ни татарам, ни Литве некогда вмешиваться в московские дела. Орда рада еще будет, если Москва станет ластить ее посулами да послугами. Дела совсем меняются, но не в том сила. Я оставил Москву, как брагу молодую: она и сама по себе так и бродит, а я подбавлю в нее еще таких дрожжей, что князь Василий и матушка его, как пена, выплывут из великокняжеского чана. Там остались у нас друзья добрые, а со мной все хартии, все грамоты, и есть такие сокровища, что голова затрещит у литвянки...

— Выходит, мы опять можем запеть старую песню о наследстве?

— Да, потому что для этой песни именно теперь настало время. Русь от нее не только не отвыкла, но спит и видит ее. Надобно только получше настроить дудку, тогда под нее все запляшет. Тверь, Ярославль, Рязань — все слажено...

— Но грамоты последние говорят...

— Грамоты — бумага, князь, неужели ты этого еще не знаешь? И на старые грамоты есть еще старше грамотки. Если на то пойдет, мы докажем, что и по грамотам Василий княжить не должен: ведь он не законный сын Василия Димитриевича!

Шемяка невольно остановился, лицо его побледнело.

— Как? — воскликнул Косой. — Ты говоришь...

— То ли ты еще услышишь...

Тут, приклонившись к Косому, боярин долго шептал ему что-то на ухо. Наконец он встал, взял шапку и сказал громко:

— Ну, на сей раз довольно. Добрая вам дорога, счастливый путь, князья! Пируйте, веселитесь в Москве, а я поплетусь куда глаза глядят... Авось еще увидимся в красный денек!

— Но ты обещал мне дать знак, боярин? — сказал Косой.

— Забыл было...

Тут он снял с руки своей золотой перстень и отдал Косому.

Холодно поклонился ему Шемяка, ласково проводил его до порога Косой.

Когда старик затворил за собой дверь, Косой похож был на человека, оглушенного сильным ударом. В рассеянии сказал он брату:

— Пора и нам в путь... — И начал искать свою шапку, которую в пылу разговора столкнул со стола.

Тогда Шемяка прервал столь долго хранимое молчание. Лицо его было важно и печально.

— Мне хотелось бы, брат, — сказал он, — чтобы прежде шапки поискал ты своей совести. Ты едва не потерял ее! Брат и друг! Послушай меня...

— Что? — угрюмо спросил Косой. — Что? Опять шутки? Признаюсь, князь Димитрий, я не мог без гнева слышать, как ты шутил, совсем не вовремя и некстати.

— Я не шучу теперь. Не прячься под личину: тебе стыдно посмотреть на меня прямо, твоя душа нечиста, брат, в нее запали дьявольские семена, и — сохрани, Боже! — какой страшный плод дадут они, если ты не успеешь избавить себя от козней дьявола!

— Ты дурачишь себя и меня, — сказал Косой. — Что за беда, если я поймал старого воробья на мякине и выведал у него кое-что? Все сгодится при случае.

— Нет! Тебе не обмануть меня: я знаю тебя, брат! — вскричал Шемяка. — И готов проклясть час, в который столкнулись мы с этим старым бесом в человеческом обличье — прости меня, Господи! В столь короткое время он вложил в душу твою столько адского зелья, что его достанет на всю жизнь твою! В такой малый час злокозненный язык его изрыгнул хулы на предков наших, оклеветал честное супружество дяди Василия Димитриевича, открыл бездну кромешную зла и гибели! Неужели ты хочешь внять его советам?